

О ПЛОДОТВОРНОМ «ДВОЕМЫСЛИИ» И ЭКСПАНСИИ «ПРОДАВЛИВАНИЯ»

Казалось бы, статья Ильи Мильштейна «Дитя XX съезда» («Зарубежные записки» № 6) не даёт оснований для спора. Политический портрет Хрущёва, красочно и остроумно нарисованный автором, опирается на тезисы вполне убедительные, да к тому же неоднократно и успешно апробированные современной публицистикой.

Всё верно – и то, что Хрущёв до 1953-го года был «классическим сталинистом», и то, что политические перемены начал осуществлять, всего лишь следуя групповому партноменклатурному инстинкту самосохранения, и то, что в процессе десталинизации постепенно начала пробуждаться человечность, не чуждая душе нового генсека, и то, что, проведя исторический XX съезд и выступив с легендарным закрытым докладом, Хрущёв «вряд ли до конца понимал, что совершил, но громадность совершённого ощущал кожей», и то, что курс «оттепели» проводился непоследовательно, а точнее – у власти было «два Хрущёвых»: один – «освобождал страну», другой – «травил Пастернака», «давил танками Будапешт и Новочеркасск и строил Берлинскую стену».

Здесь-то мы и остановимся, поскольку последний из упомянутых выше тезисов сопряжён с выводом, имеющим, по всей вероятности, существенное значение для автора статьи: непоследовательность позиции и деятельности Хрущёва породила дух *двоемыслия*, оказавший пагубное воздействие как на судьбу «обаятельного», но «полусвободного» поколения «шестидесятников», так и на дальнейшую (советскую, постсоветскую) политическую и общественную жизнь в целом.

Данной теме посвящены в статье всего девять абзацев из тридцати пяти, но именно они проливают свет на причины обращения Мильштейна к судьбе отца «оттепели». Удручает автора тот факт, что ныне Россия переживает очередной период «застоя». Хочется Мильштейну поспособствовать выходу страны из путинского тупика, а потому – в старой притче про царя Никиту он тщится узреть намёк, добрым молодцам урок. Иначе говоря – спасительную соломинку, дабы было за что (в числе прочего) ухватиться утопающей России.

Вот как Мильштейн, покорно следуя расхоже-ригористическим идейным нормативам, характеризует наиболее неприемлемую черту советской жизни 60-80-х годов: «все всё знают, но официально клянутся в верности партии и вождям».

Весьма различными социальными явлениями характеризовалась рассматриваемая автором статьи послехрущёвская «застойная» эпоха. Да, были и политические репрессии, и диктат цензуры. И разнузданный карьеризм, и серое приспособленчество. Не менее существенны, однако, и другие черты, которые были присущи духу упомянутых десятилетий.

Именно в этот период начали возрождаться некоторые традиции интеллигентской жизни, напроць – казалось бы – уничтоженные в сталинские времена. Знаменитые тогдашние кухонные посиделки (над которыми сейчас не смеётся только ленивый) создавали микроклимат, благоприятствующий насыщенному в интеллектуальном и духовном отношении существованию. Бесконечные вольные разговоры о Пастернаке и Мандельштаме, о Прусте и Музиле, о Тарковском и Феллини, о Малере и Шнитке, наконец – попросту говоря – о жизни и смерти, формировали пространство *рефлексии*. Последняя провоцировала индивидуализированный, лишённый стадности взгляд на мир и таким образом помогала среде преобразиться из аморфной массы в сообщество развитых личностей, а что могло быть лучшей альтернативой убожеству «совкового» социума? Акции гражданского неповиновения, являвшиеся в отдельных ситуациях правомерным,

а подчас – необходимым итогом рефлексии, в свете складывающихся обстоятельств никоим образом не противоречили возможности эволюционной трансформации коммунистического режима, его постепенного оздоровления изнутри.

Что же представлял собой социальный механизм, помогавший интеллигенции до поры до времени сохранять стабильность своей «кухонной» ниши? Именно то, что так не нравится Мильштейну. Прикрытием для частного вольнодумства служило минимальное соблюдение (а точнее – имитация соблюдения) внешних *правил игры*, свидетельствовавших о политической благонадёжности (на самом деле – фиктивной).

Попробуем мысленно приглядеться к контингенту упомянутых выше посиделок. Наряду с откровенными диссидентами и людьми из творческого «андеграунда», ушедшими в дворники и сторожа, весомую (если не львиную) долю «кухонных» завсегдатаев составляли совсем иные типы: почтенный профессор, вступивший в коммунистическую партию на фронте и, опасаясь потерять достойную в профессиональном и нравственном отношении научную (или преподавательскую) работу, не решившийся положить партбилет на стол, продолжающий вяло и безынициативно следовать формальным партийным ритуалам – исправно платить членские взносы, клевать носом на собраниях; скептический эмэнэс (или ИТР из проектного института), гнушающийся претензий на высокие начальственные посты, но готовый равнодушно и лениво зачитывать на обязательных политинформациях елейные передовицы из «Правды» о грандиозных сельскохозяйственных урожаях или ударных темпах строительства БАМа; пылкий студент, поступивший в вуз с целью избежать призыва в армию (осмотрительно опасаясь казарменной «дедовщины», то бишь ...той самой «порчи души», от которой предостерегает молодёжь Солженицын в конце своей «Образованщины») и, ради того, чтобы не быть из института отчисленным, спокойно, послушно и ...бездумно повторяющий на экзамене диаматовско-истматовские дацзыбао. Многие несообразности внешнего социального статуса этим людям удавалось компенсировать плодотворностью неформально-«кухонного» времяпрепровождения.

Увы, идеологический перпендикуляр к сформировавшемуся укладу не заставил долго себя ожидать. Судя по другим известным нам текстам Ильи Мильштейна, можно предположить, что он не слишком жалуется «исподглыбную» публицистику Солженицына. Показательно, однако, что именно последний в своей упомянутой выше программной статье «Образованщина» положил начало восприятию «кухонной» интеллигентской рефлексии как «двоумыслия».

В чём же видит наш пророк и мессия альтернативу рефлексии? Эмоциональный вектор солженицынских дум и назиданий обнаружить не так уж сложно. Достаточно взглянуть в лингвистический объектив, наводящийся в «Образованщине» на резкость путем троекратного повторения наречия «через».

Итак: «Обществу < ... > нельзя оздоровиться, нельзя очиститься иначе, как пройдя *через душевный фильтр*» – пока что расплывчато и неопределенно; «*через продавливание*» – последнее угрюмое словцо на редкость точно отражает процесс втискивания стереоскопического интеллигентского сознания в прокрустово ложе прямолинейного антикоммунизма; «*через сознательную добровольную жертву*» (во всех трёх цитатах из Солженицына курсив мой – Е.Г.) – а вот здесь уже горячо! Одно дело, когда человек совершает подвиг *сам*, не ставя себе этого в заслугу, не претендуя, чтобы к его бесстрашному самопожертвованию обязательно кто-либо присоединялся, но дело совсем иное, когда человек *требует* самопожертвования от других. Во втором случае речь идет о явном искусственном взвинчивании радикальной конфронтации с режимом. Как бы искренне ни полагал Солженицын, что всего лишь призывает «жить не по лжи», уклоняться от участия в советском очковитрательстве, объективно его умонастроения вдохновляли и подталкивали нарождавшуюся диссидентскую когорту на баррикады (пусть и бескровные).

Да и сами диссиденты в большинстве своем были к подобному раскладу психологически готовы и лишь ожидали дополнительных подбадривающих импульсов. Предостерегающие от оглутелости голоса таких людей, как Синявский, Померанц, Копелев, Эткинд, Амальрик, ими услышаны не были. Органическая тяга Сахарова к мировоззренческой объективности и толерантности даже на ближайшее его окружение не возымела никакого воздействия. Стремнина радикализма всё больше и больше вовлекала в свои бурные потоки. Боевые воззвания «Интернационала сопротивления», агрессивные редакторские колонки «Континента» – тому выразительное свидетельство.

Что же происходило в данной ситуации с интеллигентской «кухней»?

Её завсегда, продолжая рефлексировать, отягощали себя угрызениями совести, связанными с неготовностью к героическому действию, и, возможно, поэтому охотно поддавались натиску *идеологического* «продавливания».

В результате, когда к власти пришел Горбачев, взявший курс на внедрение долгожданных политических свобод (и в первую очередь – столь существенной для интеллигенции свободы слова), явно ориентировавшийся на путь эволюции, готовый даже своей осторожностью и нерешительностью *гладить по шерсти* интеллигентское сознание (пусть и с некоторой, простительной для политика, неумелостью), политическая линия, проводимая последним генсеком, не получила весомой общественной поддержки. Все увереннее на «кухнях» раздавались голоса тех, кто, потешаясь над нелюбезной Мильштейну идеализированной ленинской «типа мягкостью, картовостью», одобрял всамделишную столыпинскую *типа жёсткость*, пиночетовское *типа р-р-равняйся, смир-р-рно*. Тех, кто ехидно шипел в адрес коротичевского «Огонька»: отвлекает, дескать, своим беспокойством по поводу поднимающих голову охотнорядских настроений и черносотенных организаций вроде «Памяти» от *нужного* дела борьбы с идеями коммунизма. Тех, для кого любой экстремистски настроенный *человеко-гвоздь* с героической арестантской биографией за плечами являлся безоговорочным и приоритетным экспертом по части будущего страны.

Девяностые годы и вовсе ликвидировали целостную инфраструктуру интеллигенции. Осталось лишь множество её атомизированных островков, затерянных в дебрях «дикого капитализма» и лишённых возможности влиять на формирование общественного мнения. Рычаги воздействия были перехвачены новой элитой, состоящей из тех же бывших диссидентов, видных деятелей культуры, лояльных к ельцинской власти, и ангажированных журналистов.

Упомянутый период охарактеризовался уже ничем не прикрытой экспансией «продавливания», проявлявшего себя в многообразных формах. Это и назойливые призывы к антикоммунистическому «московскому процессу» (сопровожаемые рецидивами «охоты на ведьм», временами подозрительно совпадающей с советской властью по части выбора мишени: ею, в частности, и на сей раз явился ...Андрей Донатович Синявский). Это и поддержка элитой полицейской акции разгона парламента и стрельбы по Белому дому в октябре 1993 года (сопровождавшейся коллективными письмами, стилистически и интонационно подозрительно напоминавшими верноподданнические петиции эпохи сталинского «большого террора»). Это и беззастенчиво декларируемое ледяное равнодушие к судьбе рядового населения (в том числе рядовых собратьев-интеллигентов), неуютно чувствующего себя в рыночных условиях, сочетающееся с демонстративным велеречивым пиететом по отношению к «спасительному слою» «мелких собственников, добропорядочных мещан, буржуа» (цитирую в данном случае высказывание не какого-нибудь шоумена или клипмейкера, но ... исследователя творчества Рильке Константина Азадовского).

Ни к чему иному, кроме пробуксовки общественного сознания, подобное положение вещей привести не могло. Вот и сейчас, когда ельцинский период «бури и натиска» сменился путинским застоём, со стороны представителей упомянутой элиты не наблюдается никаких поползновений к пересмотру позиции. Упорно отказываются они задаться рядом неудобных вопросов: не является ли нынешняя российская ситуация закономерным следствием политической линии, проводившейся ельцинской властью? не является ли ряд уязвимых в нравственном отношении действий нынешнего руководства развитием некоторых тенденций 90-х годов – начиная с зомбирования электората при помощи пиар-технологий, впервые проявившегося в президентской кампании 1996 года – «Голосуй, а то проиграешь!», и заканчивая... войной в Чечне, начатой не Путиным, а Ельциным в 1994 году?

Вместо этого по-прежнему идет «продавливание». К примеру, в ноябре-декабре 2004 г. для автора этих строк, живущего в Киеве, была явственно ощутима тенденциозность неумеренных славословий в адрес «оранжевой» революции, исходящих от представителей либеральной российской журналистики. Борзописцы «Новой газеты», златоусты «Эха Москвы» в порыве безудержной эйфории не замечали ни того, что главные «оранжевые» лидеры, претендующие на статус демократов и неформалов, – плоть от плоти прежней «кучмистской» власти, за бортом которой они оказались достаточно случайно и не по своей воле; ни того, что под прикрытием красивых словес о стремлении «идти в Европу» в «оранжевой» среде процветают ксенофобские настроения – антирусские, антисемитские.

Остаётся лишь сожалеть, что интересный в целом текст Ильи Мильштейна не лишён элементов подобной тенденциозности в тех местах, где речь идёт о современной ситуации. И лакировочные

мифологемы (вроде Ельцина, мучающегося, «обреченно наблюдая за тем, как медленно, но неуклонно уничтожаются его политические завоевания», – где и когда встречал Мильштейн концептуальные выступления Ельцина, которые могли бы представлять собой критический «разбор полётов» его ставленника и телохранителя?), и морализаторские клише (вроде резюмирующей сентенции: «Быть может, главная беда в том, что перестроечные вольности, как и хрущёвские, были именно дарованы властью, а не завоёваны в борьбе с ней») – всё те же родимые пятна «продавливания».